

КРИТИКА и БИБЛIOГРАФІЯ.

I. Общія характеристики.

О борьбѣ съ западомъ, въ связи съ литературной дѣятельностью одного изъ славянофиловъ *).

Мы привѣтствуемъ появление только что вышедшаго, вторымъ изданиемъ, второго тома «Борьбы съ Западомъ въ нашей литературѣ» г. Н. Страхова. Тѣ, кто знакомъ съ его первымъ изданиемъ, найдетъ въ настоящемъ рядъ новыхъ статей, и между ними «Роковой вопросъ», надѣлавшій въ свое время столько шума и послужившій причиною закрытия журнала Ф. М. Достоевскаго «Время». Есть въ этомъ второмъ изданіи и статьи, никогда еще не появлявшіяся въ печати; онѣ всѣ примыкаютъ къ «Роковому вопросу», служа поясненіемъ его или дальнѣйшимъ развитіемъ. Здѣсь воспроизведена также въ полномъ составѣ статей вся полемика г. Страхова противъ проф. Тимирязева (по поводу дарвинизма)

*.) Печатая эту статью, мы слѣдуемъ намѣченному при основаніи журнала правилу—давать въ немъ мѣсто талантливому и значительному выражению всякаго направленія нашей общественной мысли. Возможный увлеченія въ сужденіяхъ автора должны оставаться на его личной отвѣтственности. Литературно-философская дѣятельность почтеннаго Н. Н. Страхова — явленіе во всякомъ случаѣ на столько крупное въ исторіи нашего просвѣщенія за послѣдніе тридцать лѣтъ, что попытка освѣтить ея значеніе заслуживаетъ полнаго сочувствія.—Ред.

и противъ Вл. Соловьева (по поводу теоріи культурно-историческихъ типовъ).

Всегдашнія черты таланта г. Страхова пѣнители и знатоки его сочиненій встрѣтятъ и въ настоящей книгѣ, какъ и въ длинномъ рядѣ другихъ, которыя онъ издалъ въ послѣдніе годы. Товарищъ по журнальной дѣятельности Ф. М. Достоевскаго, Ап. Григорьева и Н. Я. Данилевскаго, онъ только въ восьмидесятыхъ годахъ, когда началъ выпускать цѣльные сборники своихъ статей, сталъ получать прочную и широкую извѣстность. Его статьи о Герценѣ и Ренанѣ *) читались и перечитывались, а всякий, кто слѣдилъ за его полемикой по поводу различныхъ научныхъ вопросовъ, не могъ не чувствовать почти постоянного превосходства его надъ своими противниками, быть можетъ поэтому именно всегда соединенного со спокойнымъ изяществомъ постоянно правильного спора.

I.

Чрезвычайная вдумчивость составляетъ, кажется, главную особенность въ умственныхъ дарованіяхъ г. Страхова и она-же сообщаетъ главную прелестъ его сочиненіямъ. Ихъ можно снова и снова перечитывать, и все-таки находить еще новыя мысли въ нихъ, которыя или остались незамѣченными при первомъ чтеніи, или впечатлѣніе отъ которыхъ закрылось впечатлѣніемъ отъ другихъ, болѣе важныхъ мыслей. Эта особенность его таланта становится всего болѣе ярка, когда переносишься мыслию отъ него къ его умершему другу, Н. Я. Данилевскому. Связанные тѣсно и многоглѣтнею дружбою **) и единствою убѣждений, они были люди въ сущности противоположнаго умственнаго склада. Н. Я. Данилевскій разработалъ двѣ громадныи идеи, изъ которыхъ одна положительная по содержанию, другая—отрицательная. Мы разумѣемъ его теорію культурно-историческихъ типовъ, развитую въ книгѣ «Россія и Европа», и критику дарвинизма, изложенную въ двухъ томахъ неоконченного сочиненія, которое носить название этой теоріи. По своему универсальному значенію обѣ идеи эти высоко возвышаются надъ умственою производительностью нашего обще-

*) Въ 1-мъ т. „Борьбы съ Западомъ въ нашей литературѣ“, изд. 2-е, Спб. 1887.

**) Во 2-мъ т. „Борьбы съ Западомъ“ есть нѣсколько страницъ посвященныхъ воспоминанію о Данилевскомъ, стр. XIX—XX и 512—514. См. также предисловіе къ четвертому изд. „Россія и Европа“, Спб. 1889.

ства и, конечно, чѣмъ далѣе ряды смѣняющихся поколѣній будуть отходить отъ нашего времени, тѣмъ яснѣе проступятъ передъ ними величественная черты умственнаго зданія, которое онъ пытался воздвигнуть. Но подходя ближе къ этому зданію, мы замѣчаемъ, что многое въ немъ выполнено просто и грубо, хотя въ общемъ—всегда вѣрно. Истинность и совершенство цѣлаго при грубости въ обработкѣ частей есть общая черта научно-литературныхъ произведеній Данилевскаго. Онъ всегда видѣлъ только главную идею, для которой работаль; эта идея поглощала его мысли и онъ менѣе внимательно смотрѣлъ на самый процессъ выполненія. Отъ того, разъ прочитавъ его труды и согласившись съ нимъ въ главномъ, не имѣшь охоты возвращаться къ нимъ снова, зная, что не найдешь въ нихъ уже ничего новаго. И однако самыя идеи его уже входять въ систему вашихъ убѣждений, онѣ не могутъ ни исказиться, ни забыться.

Совершенно противоположны по своему характеру труды г. Страхова. Его занимаетъ слишкомъ много мыслей, чтобы мы могли выдѣлить которая-нибудь изъ нихъ и, забывъ остальное, сохранить только ихъ. И, что въ особенности важно, эти мысли отличаются чрезвычайною сложностью и тонкостью, онѣ трудно усвоимы—и это не смотря на совершенную прозрачность языка. Онѣ трудны не потому, что трудно выражены, но—сами по себѣ, именно какъ мысли *). Все слишкомъ ясное и простое, все умственно грубое не особенно занимаетъ его и, если во 2-мъ томѣ «Борьбы съ Западомъ» такъ много места отведено имъ теоріи Дарвина, то это конечно лишь изъ желанія выяснить достоинства труда Данилевскаго и этимъ почтить память своего умершаго друга. Въ дѣйствительности же теорія эта, слишкомъ простая и грубая, не могла надолго приворовать къ себѣ вниманіе критика разъ ея истинное достоинство стало для него ясно. Съ неудержимою силою его мысль влечется къ темнымъ и неяснымъ сторонамъ въ жизни природы, во всемирной исторіи и въ вопросахъ общественныхъ, онъ ходитъ около этихъ областей, тщательно взвѣшиваетъ все, что о нихъ думали выдающіеся умы разныхъ временъ и народовъ, и вывести изъ этой темной глубины хоть что-нибудь къ свѣту яснаго сознанія—вотъ что составляетъ его постоянную и тревожную

*) Сюда относится много удивительныхъ и лучшихъ страницъ въ „Общихъ понятіяхъ психологіи и физіологіи“. Спб. 1886.

заботу. Отсюда вытекаетъ необыкновенная оригинальность его мысли: вы никогда не увидите у него повтореній того, что уже известно вамъ изъ другихъ книгъ; отсюда-же — отрывочность этихъ мыслей, ихъ рѣдкая законченность, и вмѣстѣ — обилие ихъ. Первое происходитъ отъ того, что онъ никогда не хочетъ говорить болѣе, нежели сколько знаетъ, второе—отъ того, что чѣмъ труднѣе занимающій его вопросъ, тѣмъ менѣе онъ въ силахъ оставить его, и все съ новыхъ и новыхъ сторонъ пытается его разрѣшить. Вотъ почему онъ не создалъ ни одного большого систематического труда; «замѣтка», «очеркъ» или, какъ дважды озаглавливаетъ онъ свои статьи, «попытка правильной постановки вопроса»—вотъ самая обыкновенная и дѣйствительно самая удобная форма для выраженія его мыслей. Онѣ напоминаютъ собою ажурную работу необыкновенной тонкости и изящества, каждый уголокъ которой занимаетъ васъ, въ которой вы открываете все новые и новые узоры, хотя издали она представляется однородною. Его труды—это не величественный храмъ, который издали привлекаетъ путника, но это—удивительная и разнообразная орнаментация, которую онъ неожиданно замѣчаетъ войдя въ него, и прихотливые изгибы ея уходятъ въ неопределенную даль. Ничего крупнаго и рѣзкаго не запоминается въ ней, но, долго всматриваясь въ ея мягкия черты, начинаешь чувствоватьпренебрежение и даже непріязнь ко всему умственно-грубому, что, отвернувшись, находишь снова въ обыденной жизни и что раньше не казалось грубымъ. Она не столько входитъ какою-нибудь определенною мыслью въ составъ вашихъ убѣждений, сколько изощряетъ вашу мысль и воспитываетъ ее, и хотя-бы предметомъ ея стали другіе вопросы, на всемъ, что создается ею, ляжетъ уже своеобразная печать.

Мы сказали объ однородности впечатлѣнія, которое остается отъ чтенія всѣхъ трудовъ г. Страхова. Это зависитъ отъ единства настроенія, съ которымъ писались они, и отъ цѣльности мысли, отсутствія разорванности въ ней, несмотря на разнообразіе предметовъ, которымъ они посвящены. Множество мыслей, переплетаясь и повидимому перерывая другъ друга, въ дѣйствительности связываются въ одну непрерывную ткань. Вы чувствуете, что о чѣмъ-бы ни писать онъ, будетъ-ли то научный вопросъ, явленіе литературы, политическое увлеченіе, онъ постоянно думаетъ о чѣмъ-то одномъ: въ отношеніи къ этому одному, не на-

зывая его, онъ высказываетъ всѣ свои мысли, чего-бы ни касались онѣ прямымъ, точнымъ значеніемъ своихъ словъ.

Это сообщаетъ его разнообразнымъ критическимъ, публицистическимъ и научнымъ статьямъ глубокую, хотя не рѣзко выраженную сосредоточенность. Слѣдя за направленіемъ, въ которомъ она возрастаетъ, мы открываемъ двѣ идеи, которыя, не будучи центромъ всѣхъ его мыслей, стоятъ наиболѣе близко къ нему; самого же центра онъ никогда почти не касается словомъ; о чѣмъ онъ постоянно думаетъ, онъ не говоритъ совсѣмъ. Вы только чувствуете вътъ центръ, открываете его изъ общаго теченія его мысли, и изъ общаго настроенія, подъ которымъ онъ писалъ всѣ свои труды.

Два ближайшія къ центру средоточія, о которыхъ заговорили мы,—это, во первыхъ, идея рациональнаго естествознанія и, во вторыхъ, идея органическихъ категорій, какъ особыхъ понятій, исходя изъ которыхъ можно было-бы наконецъ пролить объясняющій свѣтъ на никогда не разгаданную область жизни и смерти. Первая идея установлена въ самомъ почти раннемъ и наиболѣе цѣльномъ, закругленномъ трудаѣ его: «Миръ какъ цѣлое; черты изъ науки о природѣ» (Спб. 1872 г.); вопросъ о вторыхъ уже поставленъ имъ въ первомъ не специальному трудаѣ: «О методѣ естественныхъ наукъ и значеніи ихъ въ общемъ образованіи» (Спб. 1865 г.) и къ нему-же вернулся онъ снова и съ величайшою энергию въ позднемъ и лучшемъ трудаѣ своемъ: «Объ основныхъ понятіяхъ психологіи и физіологіи» (Спб. 1886 г.). Нужно прочитать обѣ эти книги, чтобы понять всю глубину мысли, которая заложена въ нихъ, чтобы дать себѣ ясно отчетъ во всей геніальности догадокъ, которыя здѣсь высказаны, но къ сожалѣнію, не развиты *). Объ идеѣ рациональнаго естествознанія написано имъ немного, и однако-же она совершенно ясна изъ этого немногаго; напротивъ, обѣ органическихъ категоріяхъ написано имъ гораздо болѣе, и между тѣмъ сущность ихъ, точное значеніе и формальное определеніе гораздо менѣе ясны. Очевидно, онъ встрѣтился здѣсь съ гораздо болѣе труднымъ вопросомъ, который не столько разрѣшилъ, сколько твердо выставилъ и рѣзко указалъ на него, какъ на такой, безъ предварительного рѣшенія котораго всѣ тру-

*) См. обѣ этомъ предисловіе въ книгѣ „Миръ какъ цѣлое и пр.“ Спб. 1872, стр. IX.

лы натуралистовъ осуждены вѣчно оставаться только собираніемъ безсмысленныхъ фактovъ, а не созиданіемъ науки въ истинномъ и строгомъ значеніи этого слова.

Невѣрность надежды достигнуть когда-нибудь полнаго проведения первой теоріи по всей области естествознанія и ясности въ разрѣшениі второго вопроса была, вѣроятно, не единственою причиной того, что г. Страховъ не посвятилъ этимъ двумъ задачамъ всей своей жизни, какъ хотѣлъ сдѣлать это въ началѣ *). Мы сказали уже, что идеи эти, стоя ближе всего къ центру его интересовъ, однако все-таки не составляютъ этого центра и онъ, предавшись имъ, не могъ закрыть глаза на то, что вѣчно и неумолкаемо тревожило его мысль. Онъ сошелъ съ пути чистаго естествознанія и, весь руководимый одною мыслью, обратился къ разнообразнымъ сферамъ исторіи, литературы, политики, какъ будто повсюду и въ нихъ продолжая искать чего-то, чего не нашелъ въ естествознаніи за несовершенно яснымъ рѣшеніемъ двухъ главныхъ вопросовъ, занимавшихъ его тамъ. Въ явленіяхъ литературы его болѣе всего интересуютъ произведенія, въ которыхъ среди мимолетнаго и бѣгущаго уловлены вѣчныя черты человѣческаго существа и вѣчныя основы, по которымъ движется жизнь народа. Отсюда—восторгъ, который онъ почувствовалъ при появлении «Войны и мира» гр. Л. Н. Толстого и лучшая оценка имъ этого произведенія, какая была сдѣлана до сихъ поръ въ нашей литературѣ; отсюда—его колеблющееся отношение и наконецъ непріязнь къ Тургеневу, который ради интереса къ текущему и временному въ человѣкѣ пренебрегалъ этимъ вѣчнымъ въ немъ **).

Отсюда-же вытекаетъ его глубокій интересъ къ отрицательнымъ и разрушительнымъ явленіямъ въ исторіи западной Европы,—къ французской революціи, къ паденію философіи, къ особенному характеру, который принялъ тамъ естествознаніе. Онъ съ любопытствомъ всматривается во всѣ эти явленія, старается уяснить смыслъ ихъ возникновенія и точная причины, которыя сдѣлали его возможнымъ. Но эта научная сторона въ его взглядахъ на текущую исторію есть только предварительная ступень къ тому, что всего болѣе занимаетъ его: онъ пытливо всматривается въ

*) См. въ особенности объясненіе кристаллическихъ формъ въ минералахъ и теорію вѣчныхъ чувствъ человѣка въ „Мирѣ какъ цѣлосъ“. Спб. 1872.

**) См. „Критическія статьи объ И. С. Тургеневѣ и Л. Н. Толстомъ“. Изл. 2-е. Спб. 1887.

лицо людей, которые идутъ впереди этого исторического движения, и ищетъ въ нихъ выраженія тревоги и смущенія. Онъ какъ будто спрашиваетъ: «какъ-же вы будете жить, заглушивъ въ себѣ вѣчные потребности человѣческой души, что вы поставите на мѣсто ихъ и, чего-бы ни достигли вы въ жизни, что почувствуете вы въ самихъ себѣ?» Симптомы этой внутренней тревоги съ проницательностью человѣка, слишкомъ много пережившаго въ себѣ, онъ отыскиваетъ въ великихъ представителяхъ современной западной литературы, въ Ренанѣ, Штраусѣ, Д. С. Миллѣ, у насъ—въ Герценѣ. Отсюда—рядъ удивительныхъ его статей объ этихъ писателяхъ (см. «Борьба съ Западомъ въ нашей литературѣ», т. 1-й). Можно сказать, что духовная физіономія этихъ писателей внутренний и скрытый центръ ихъ дѣятельности, такъ хорошо известной и такъ мало понятой, впервые раскрылись въ своемъ истинномъ значеніи въ этихъ статьяхъ. Объективное значеніе трудовъ этихъ писателей, ихъ содержаніе и то новое, что оно пытается внести въ науку—все это, какъ второстепенное и имѣющее пройти, оставлено въ сторонѣ г. Страховымъ. Онъ разсматриваетъ эти труды не въ ихъ значеніи для читателей, но въ ихъ отношеніи къ самимъ писателямъ, какъ показатели ихъ внутренняго настроенія. Именно оно служитъ предметомъ его постояннаго размышленія, какъ моментъ въ развитіи человѣческой души, какъ исполненія захватывающаго интереса страница изъ судьбы человѣческой совѣсти въ исторіи.

Здѣсь мы подходимъ къ тому, что уже не около центра постоянныхъ размышлений нашего автора, но составляетъ самыи центръ въ немъ, въ его дѣятельности и многолѣтнихъ искаченіяхъ. Искусный въ опредѣленіи скрытаго нерва другихъ, онъ ни разу не вскрылъ передъ читателями своего собственнаго, высказавъ о томъ, что его постоянно въ сущности занимало, лишь немного отрывочныхъ словъ, сказанныхъ по поводу чего-нибудь посторонняго и только произнесенныхъ съ чрезвычайно вдумчивостью. Есть извѣстие, что самый религіозный народъ въ исторіи, еврейскій, никогда не произносилъ имени своего Бога и не писалъ его всѣми буквами, такъ что древній звукъ этого имени наконецъ утерялся и въ позднія и менѣе религіозныя времена стала предметомъ розысканий, но уже тщетныхъ. Нѣчто подобное мы наблюдаемъ и во многихъ писателяхъ. Какъ будто какой-то страхъ удерживаетъ ихъ говорить о томъ, о чёмъ одномъ они хотѣли-бы говорить, и они

только подводятъ читателя къ этому главному, но подведя—сами ничего о немъ не произносятъ. Боязнь сказать что-нибудь не такъ, ошибиться хоть въ одномъ словѣ о предметѣ столь важномъ, все-таки есть не единственное, что закрываетъ имъ уста. Тутъ есть дѣйствительно нѣчто цѣломудренное, есть рѣзко со-знанное нежеланіе выносить словомъ изъ своей души то, что со-ставляетъ саму сущность этой души и потому должно быть на вѣки скончено въ человѣкѣ, должно быть цѣльнымъ и нерасте-ряннымъ возвращено имъ туда, откуда оно пришло.

Отъ этого, вѣроятно, происходитъ то, что о нѣкоторыхъ важ-нѣйшихъ сторонахъ человѣческаго существа и человѣческой жиз-ни оставлено такъ мало истинно цѣнныхъ словъ во всемирной ли-тературѣ и такъ много посредственнаго и ненужнаго. О нихъ говорили люди, которые даже не понимали, о чёмъ собственно они говорятъ, и часто молчали тѣ, которые могли сказать нѣчто дѣй-ствительно значительное. Но, хотя изрѣдка и почти всегда не пря-мо, эти слова иногда произносились, и они всѣ запомнены чело-вѣчествомъ, какъ самая дорогія для него. Въ образахъ поэзіи въ идеяхъ философіи и гораздо рѣже въ прямомъ ученіи во все-мирной исторіи было создано хоть и немногое, но за то такое что и сообщаетъ ей все значеніе, въ чёмъ и лежитъ ея глав-нѣйшій смыслъ.

Религіозное составляеть область самую важную изъ тѣхъ, ко-торыхъ изрѣдка дѣйствительно достойнымъ образомъ умѣль ка-саться человѣкъ. Всѣ великие умы въ исторіи явно или скрыто тяготѣли къ этой области, и даже по степени, въ которой они испытывали это тяготѣніе, можно судить о ихъ сравнительной силѣ. Но говорить о ней что-нибудь они не могли, и это было причиною, почему они избирали для себя иныхъ сферы дѣятель-ности,—искусство, науку или философію, рѣже—политическую дѣятельность; однако на всемъ этомъ уже отразилось то главное тяготѣніе, которому они были подчинены. Они любили и хотѣли только религіознаго, но, не осмѣливаясь любить его прямо, лю-били его сквозь науку, философію, поэзію. И въ то время, какъ болѣе чувствуя, нежели зная, истинный смыслъ этого тяготѣнія, они о немъ молчали, всѣ остальные, отъ которыхъ не могло укрыться это странное тяготѣніе, пытаясь опредѣлить его причи-ну, начали произносить о немъ—то положительно, то отрица-тельно—безчисленныя пустыя слова. Такъ образовалась необозри-

мая, у всѣхъ народовъ, литература о предметахъ религіи, гдѣ всѣ они уже давно объяснены, классифицированы и разсказаны. Но, какъ само собою ясно, эта литература въ дѣйствительности не столько касается религіознаго, сколько появилась потому, что религіозное дѣйствительно существуетъ въ человѣчествѣ.

Мы уже имѣли случай однажды высказать *), что лѣтъ наро-довъ арійскаго племени, вслѣдствіе особенностей ихъ психиче-скаго склада, религіозное доступно съ особеннымъ трудомъ, они чувствуютъ его почти всегда не прямо, рѣдко безъ искаженія и большою частью черезъ посредство другихъ народовъ. Сфера знанія, политической дѣятельности, объективнаго воспроизведенія природы и жизни въ искусствѣ есть настоящая сфера ихъ дѣятельности, и она-то составляетъ неумолкаемый шумъ исторіи, который тысячелѣтія стелется по землѣ, изрѣдка поднимается надъ нею, большую же частью низко къ ней склоняется. Подоб-но тому какъ для народа не арійскаго племени странно и чуждо было бы заинтересоваться внѣшними очертаніями окружающихъ предметовъ, и онъ съ удивленіемъ, какъ на нѣчто непонятное, посмотрѣль-бы на попытку найти ихъ геометрическое опредѣленіе; такъ точно для арійца странно и чуждо исключительно религіозное настроеніе и обращеніе мыслию къ тому, что служитъ его вѣчнымъ источникомъ. И только встрѣчая у нѣкоторыхъ народовъ постоян-нымъ и всеобщимъ это настроеніе, онъ невольно задумывается надъ нимъ и, даже усвоивъ, перелагаетъ, согласно съ своею пси-хическою природою, въ форму идей о религіозномъ и знанія о немъ. Но и тогда, при всѣхъ средствахъ воспитанія извѣтъ, даже дѣлая знаніе религіознаго предметомъ своихъ постоянныхъ заня-тий, аріецъ рѣдко достигаетъ того, чтобы и все внутреннее его существо обратилось къ религіозному, чтобы оно перестало, на-конецъ, быть для него чѣмъ-то внѣшнимъ и лишь заниматель-нымъ или нужнымъ.

Изрѣдка появлялись, однако, среди этихъ народовъ люди, въ которыхъ ограниченность ихъ племенной природы какъ-бы по-давалась и они самостоятельно и изнутри себя начинали ощу-щать религіозное. Но, подавшись отчасти, эта природа въ глав-номъ все-таки сохранялась, и вотъ почему, не будучи въ силахъ прямо обратиться къ религіозному и живо чувствуя недостаточ-

*) „Мѣсто христіанства въ исторіи“. Москва. 1890.

ность только виѣшиаго обращенія къ нему другихъ людей, они искали его въ природѣ,—то изучая ея явленія, но какъ будто съ мыслью не о ней,—то изображая ея красоту, но какъ будто чувствуя при этомъ красоту чего-то иного.

Къ ряду людей этого типа, очень немногихъ и очень рѣдкихъ, принадлежитъ и разбираемый нами писатель: религіозное составлять ни разу не названный центръ постояннаго тяготѣнія его мысли *. Отъ того и предметы, яздъ которыми онъ вдумчиво фстанавливается, такъ разнообразны, что ни одинъ изъ нихъ не занимаетъ его самъ по себѣ, но лишь въ отношеніи къ иному, о чёмъ говорить прямо онъ не хочетъ и не можетъ; отъ того и люди, къ мысли которыхъ онъ прислушивается, такъ до странности несходи: это и Кювье, недавній творецъ трехъ точныхъ наукъ, и старицъ Платонъ съ его полузыбытыми «идеями», и нашъ мистикъ Лабзинъ, цитату изъ котораго не помѣстилъ-бы въ своей статьѣ ни одинъ ищущій популярности, но нисколько не ищущій истины, современный журналистъ. Онъ прослѣдилъ каждый изгибъ мысли въ Герценѣ и въ Ренанѣ, а потомъ захотѣлъ побѣхать на Аѳонъ, чтобы и тамъ посмотрѣть, какъ чувствуютъ себѧ и что думаютъ нѣсколько странныхъ анахоретовъ, тотъ-же-ли встревоженный у нихъ взглядъ и то-же-ли смущеніе, которое онъ подмѣтилъ въ такъ хорошо знакомой ему Европѣ. Впечатлѣніе, имъ вынесенное оттуда, было иное, но онъ уже такъ отвыкъ говорить собственно о томъ, что его занимаетъ, чего онъ ищеть въ людяхъ и въ жизни, что онъ и здѣсь о главномъ умолчаль и только съ удовольствіемъ разсказываетъ о своей поѣздкѣ въ этотъ своеобразный уголокъ Европы, столь на нее непохожій **).

Всѣхъ людей подобнаго типа можно назвать скрѣе ищущими, нежели уже напшедшими, и вотъ почему такъ много въ европейской литературѣ произведеній религіознаго характера, написанныхъ подъ конецъ жизни людьми, которые о своемъ интересѣ къ религіи прежде ничего не говорили и только отрицательно относились къ тому, что обычно грубо писалось о ней ихъ современниками. Они не хотѣли говорить, пока не нашли, и не дойдя до конца—не могли удержаться, чтобы не высказать хотя

*) Болѣе ясно интересъ къ религіозному высказанію у него только въ „Критическихъ статьяхъ“ о И. С. Тургеневѣ и Л. Н. Толстомъ“, стр. 459—484.

**) См. „Воспоминаніе о поѣздкѣ на Аѳонъ“ въ „Русскомъ Вѣстнику“, 1889 ., октябрь.

въ несовершенной формѣ того, чего не успѣли для себя выяснить, но къ чему тяготѣла всегда ихъ мысль. Это тяготѣніе, однако, скрыто опредѣляюще сферы зданія, литературы или искусства, которымъ была посвящаема и вся остальная ихъ жизнь. Оно-же опредѣлило и кругъ интересовъ разбираемаго нами писателя.

Граница между материальнымъ и духовнымъ,—тотъ узель, гдѣ мы видимъ, какъ теряются они, но не видимъ, какъ они связываются,—составляетъ главный предметъ вниманія г. Стражова. «Человѣкъ—вотъ узель мірозданія, его величайшая загадка и, если бы ее удалось объяснить—совершенная разгадка этого мірозданія», говоритъ онъ не одинъ разъ въ своихъ трудахъ *). Законы виѣшиней, механически устроенной природы, какъ и законы чистой психической дѣятельности хотя и занимаютъ его, но менѣе, нежели та неясная область, гдѣ какимъ-то непостижимымъ образомъ они переплетаются и взаимно переходятъ другъ въ друга. Отъ того физиология—его любимая наука, и въ ней эмбріологические процессы—предметъ его усиленнаго вниманія; и, рядомъ съ этимъ, предметомъ его неустанныаго вниманія служатъ глубокія и скрытые движения человѣческаго сердца въ исторіи, его вѣчные потребности, безъ удовлетворенія которыхъ человѣкъ не можетъ жить и которая отразились въ литературныхъ и философскихъ произведеніяхъ,—все равно Лабзина или Платона. Съ величайшою отчетливостью онъ видѣтъ то, что съ противоположныхъ концовъ, какъ исключительно-материальное и какъ чисто-психическое, подходить къ этому узлу и, точно блѣднѣя, теряютъ ясность своихъ очертаній и наконецъ становятся неуловимъ, когда входитъ въ него. Послѣ долгихъ мыслей, онъ наконецъ решается отвергнуть представление, къ которому мы всѣ такъ привыкли: организмъ, говоритъ онъ, вовсе не есть предметъ или существо; это есть процессъ, послѣдний въ природѣ, черезъ который выдѣляется изъ нея духовное; созданіе его, этого духовнаго, вызвало всѣ особенности организаціи, какъ необходимыя свои условія **). Мы видимъ, что въ этихъ простыхъ и краткихъ словахъ содержится новая точка зрѣнія на двѣ великия области, органическаго и психического, связь которыхъ представ-

*) См. обѣ этомъ въ особенности „Миръ какъ цѣлое“. Спб. 1872.

**) См. тамъ-же.

ляется столь неуловимою. Мы ожидали-бы, что вслѣдъ за установленіемъ этой точки зрѣнія онъ начнетъ искать ея оправданія на всѣхъ частностяхъ организаціи: но онъ только опредѣляетъ задачу физіологии словами: показать, почему для понятія духовнаго та или иная и, въ концѣ концевъ, каждая черта организаціи есть условіе необходимоносіе, — и затѣмъ переходитъ къ инымъ областямъ знанія, всюду и тамъ останавливаясь лишь на общихъ точкахъ зрѣніяхъ и не проникая въ глубину частнаго. Этотъ единичный примѣръ лучше всего можетъ объяснить, какимъ образомъ онъ не сдѣлался ученымъ натуралистомъ. Слишкомъ большая субъективность, отсутствіе способности заинтересоваться подробностями такъ-же сильно, какъ и цѣлымъ, помѣщала ему разработать до конца какую-нибудь мысль, и вотъ почему онъ повсюду не обосновываетъ теоріи, но только роняетъ сѣмена, изъ которыхъ могли-бы выростіи прекрасныя теоріи, только вкидываетъ различные вопросы или ограниченія въ разработку науки другими, или рѣзко порицаетъ ихъ, когда они уклоняются отъ своихъ задачъ.

Подобное рѣзкое порицаніе ему случилось высказать, когда въ недавнюю пору увлеченія спиритизмомъ наши ученые перемѣшили всѣ области и стали отвергать, ради утвержденія духовнаго, ненарушимость законовъ вѣнчаной механической природы. Подобное грубое заблужденіе не могло не вызвать протеста со стороны человѣка, уже десятилѣтія стоявшаго надъ вопросомъ объ этомъ же духовномъ и ясно видѣвшаго, где лежитъ узель его разрѣшенія. Съ необыкновенною силой онъ утвердилъ непреложность и вѣчность законовъ матеріальной, физической природы *), и не только ему самому, но и каждому постороннему читателю, безъ сомнѣнія, болѣо и трудно было видѣть, какъ самая ясная его слова о томъ, где нужно искать духовное, какъ-будто пропускались мимо и явился удивительный вопросъ среди небрежныхъ его противниковъ: «да ужь не скрытый-ли онъ материалистъ?»

II.

Человѣкъ такъ напряженно живущій мыслью не могъ не стать рационалистомъ, и хотя г. Страховъ нигдѣ этого не выказываетъ, однако для всякаго его внимательного читателя не можетъ не

*). См. его «О вѣчныхъ истинахъ (мой споръ о спиритизмѣ)». Спб. 1887.

стать яснымъ глубокій *теоретизмъ* всего его душевнаго склада. У него нѣтъ трактатовъ по логикѣ или метафизикѣ, всѣ его писанія удивительно просты, и однако за простотою этого писанія чувствуется присутствіе громадной теоретической работы, которую совершилась въ духѣ писателя и только послѣдніе результаты которой мы видимъ въ его утвержденіяхъ и отрицаніяхъ, всегда просто выраженныхъ и въ то-же время глубокомысленныхъ до трудности усвоенія. Но здѣсь, съ этой мыслью объ его теоретизмѣ, невольно связывается мысль о той книгѣ, появленіе которой мы избрали, какъ предлогъ, для того, чтобы поговорить о давно занимающемъ насъ мыслителѣ.

Главный и можетъ-быть лучшій сборникъ своихъ статей г. Страховъ озаглавилъ «Борьба съ Западомъ», и это невольно должно удивлять какаго, кто хорошо освоился съ его умственнымъ мѣромъ. Авторъ, такъ озаглавливающій свои статьи, не впаѣлъ ли въ недоумѣніе относительно самого себя? Такъ точно разграничивая всѣ области знанія и не теря смѣщенія ихъ съ другими *), вѣрно-ли опредѣлилъ онъ свое собственное положеніе между двумя великими духовными областями—вѣтхой и мудрой, которую онъ нашелъ на Западѣ, и юной еще, неразвитой и часто нелѣпой которую онъ находитъ вокругъ себя и которую иногда такъ страстно ненавидитъ. Правда, къ Россіи и къ ея будущему обращены всѣ его надежды и желанія, но онъ не публичистъ, онъ прежде всего мыслитель, и какими-же мыслями живеть онъ? Развѣ не ясно для всякаго, что духовный міръ Европы, глубокія идеи ея философіи, чудныя и сложныя зданія ея наукъ — это то самое, во что вросъ онъ свою душою, что живеть въ немъ такою могущественною и яркою жизнью, какъ быть-можетъ въ немногихъ и европейцахъ. Встрѣчая въ различныхъ мѣстахъ его книгъ слова, въ которыхъ онъ отдѣляется отъ западниковъ и становится на сторону славянофиловъ, недоумѣвающему читателю невольно хочется спросить его: «развѣ въ Васъ есть это соединеніе простоты и ясности созерцанія, которое присуще нашему народу и отразилось въ простотѣ и ясности его великихъ поэтовъ, каковы Пушкинъ и авторъ «Семейной Хроники» **)? Развѣ съ жизнью *нашего* народа связаны Ваши самые глубокіе интересы? Знатокъ и любитель поэзіи, зачитывались-ли Вы когда-нибудь нашими бы-

*) См. тамъ-же, возраженія противъ Вагнера и Бутлерова.

**) Ср. „Замѣтки о Пушкинѣ и другихъ поэтахъ“. Спб. 1888 г.

линами, заслушивались ли народною пѣснею, слѣдили-ли съ интересомъ за прихотливымъ вымысломъ народной сказки? Развѣ Вы знаете хорошо русскую исторію? Цѣнитель поэзіи «преданій русскаго семейства» въ «Капитанской дочкѣ» и въ «Войнѣ и мирѣ», развѣ Вы искали ее когда-нибудь въ русскихъ мемуарахъ? И, напротивъ, развѣ Вы съ болыничи, интересуетъ, говорите даже о Пушкинѣ, чѣмъ о Ренанѣ и Штраусѣ? Развѣ Вы писали о всѣхъ перемѣнахъ прошлого царствованія столько, сколько о дарвинизмѣ? Развѣ самая идея культурно-историческихъ типовъ занимала Васъ сильнѣе, нежели идеи Клода Бернара объ общей физиологии? Если когда-нибудь появлялся писатель столь мало мѣстный и такъ слабо связанный съ текущею дѣйствительностью, то это именно Вы. Вѣковѣчные вопросы всего человѣчества, искачіе «вѣчныхъ истинъ», какъ озаглавили Вы одинъ сборникъ своихъ статей,—вотъ Ваша постоянная тревога, главный смыслъ Вашей жизни, и неужели, столько понявъ, вы не поняли смысла всей Вашей дѣятельности?

Повторяемъ, сомнѣніе это невольно, и можетъ пройти много лѣтъ прежде, чѣмъ для читателя прольется на него хоть какой-нибудь объясняющій свѣтъ. Повсюду, полемизируя съ западниками, онъ поправляетъ ихъ пониманіе главнѣйшихъ идей, которыми живетъ Европа, и нерѣдко поправляетъ въ знаніи ея литературы и философіи. Однажды, дѣлая подобную поправку, онъ замѣчаетъ: «для того, чтобы хорошо понимать Европу, конечно менѣе всего нужно быть западникомъ». Въ словахъ этихъ какъ-будто слышится признаніе, что именно глубокое вниканіе въ духовную жизнь Европы, долгое и постоянное вращеніе въ сфере ея идей и интересовъ произвело въ концѣ концовъ и его собственное отчужденіе отъ нея. Въ «Воспоминаніяхъ о поѣздкѣ на Аѳонъ» есть нѣсколько любопытныхъ строкъ, бросающихъ свѣтъ на характеръ этого отчужденія, быть-можетъ болѣе желаемаго, чѣмъ уже достигнутаго. «Имѣя два мѣсяца свободныхъ,—рассказываетъ онъ,—мнѣ хотѣлось присоединиться душою къ какой-нибудь людской жизни, идущей не по тѣмъ начальамъ, по которымъ мы живемъ... Но гдѣ-же искать другой жизни? Европейскіе нравы и обычаи уже распространілись по всему земному шару; вездѣ власть и движение, ростъ и сила принадлежать Европѣ, а всякая другая жизнь лишена развитія и будущности. Сотни миллионовъ людей, еще не уподобившихся европейцамъ, составляютъ лишь слу-

жебное, рабочее, податное населеніе, которое уже не можетъ мечтать о своеобразной культурѣ, о какомъ-либо участіи въ ходѣ исторіи человѣческой». Онъ думать сперва о поѣздкѣ въ Египетъ, но мысль, что и тамъ онъ найдеть ту-же Европу, какую можно видѣть и въ Петербургѣ, тѣ-же пароходы, гостиницы и итальянскую оперу, осенила его. Онъ бытъ ли какому-нибудь куда поѣхать: «нето же-ли самое и вездѣ, что въ Египтѣ? Вездѣ остались только обломки и дреbezги былой жизни, вездѣ туземное населеніе на заднемъ планѣ, лишенное средоточія и самобытного движения, а на первомъ планѣ живеть и движется Европа». Ему пришло, наконецъ, на мысль поѣхать на Балканскій полуостровъ; и что-же, не въ родныя славянскія страны потянуло его и не въ чужую Грецию, гдѣ онъ могъ-бы еще увидѣть памятники такъ пѣнімой имъ, такъ понимаемой античной жизни. Онъ останавливается на странѣ, которая должна-быть ненавистна и отвратительна для всякаго русскаго и каждого славянофila: онъ вспоминаетъ, что «у насъ подъ бокомъ есть страна, представляющая высокую занимательность новизны и оригинальности. Сама страшная Азія, послѣдняя могучая форма восточной жизни, еще царитъ въ Константинополѣ; на самомъ европейскомъ материкѣ еще сохраниется грозное нѣкогда владычество турокъ». Цѣлью его поѣздки сдѣлался Константинополь, а по близости сосѣдства онъ поѣстиль и Аѳонъ.

Во всякомъ случаѣ, какъ страненъ тонъ всѣхъ приведенныхъ словъ и какъ странно самое желаніе поѣхать посмотрѣть базары и мечети Турціи, чтобы хоть тамъ забыться отъ впечатлѣній Европы, отъ которой некуда теперь уйти. Какъ не похоже это на все, что обычно говорятъ наши путешественники. Г. Страховъ самъ, впрочемъ, не скрываетъ этого различія: «куда щѣхать! зачѣмъ щѣхать?» спрашивается онъ самого себя нѣсколькими страницами выше: «спа-сать свою душу одинаково надобно и возможно на всякомъ мѣстѣ, и отъ души своей никуда спастись невозможно. Да и вообще, не вездѣ-ли вокругъ насъ люди, а передъ нами земля и небо, вѣ-стихія природы и жизни человѣческой? И счастливъ, конечно, тотъ, кто прямо живетъ этими окружающими его стихіями, кто не тянетъ въ даль, кто почерпаетъ свою душевную пищу изъ близ-кой и родной почвы. Для такихъ людей путешествіе не можетъ имѣть глубокаго интереса; оно всегда будетъ для нихъ только забавою, только охотою».

Только на два мѣсяца оставляя городъ, гдѣ Европа свила одно изъ своихъ гнѣздъ, онъ бросаетъ взглядъ назадъ и произноситъ о людяхъ своего времени и своего положенія иѣсколько словъ, которыя поражаютъ своею вѣрностю и проникнуты какою-то грустью: «Мы, русскіе, легко вникаемъ въ чужую жизнь, легко отдаемся чужимъ понятіямъ, и нельзя не сознаться, что, большею частью, мы этимъ портимъ свою душевную деятельность. Еслибы мы были посерѣзнѣе, то нась должно-бы ужасать то *отсутствіе крѣпкихъ связей со всякою жизнью, и со своею и со чужою*, которое у насъ такъ часто встрѣчается. Все мы понимаемъ, всѣмъ умѣемъ интересоваться, и ничѣмъ серьезно не заняты, и ни къ чему не питаемъ глубокаго, кровнаго участія, кромѣ развѣ своихъ мелкихъ личныхъ выгодъ и прихотей. *Всльствіе домаю умственнаю блужданія по разнымъ эпохамъ исторіи и народамъ земного шара, русскій образованный человѣкъ часто по душевному складу бываетъ похожъ на отжившаго старика, невольно пришедшою къ той степени отвлеченнаго пониманія, на которой все вещи равны и нѣтъ уже ничего ни новаго, ни важнаю, а все сливается въ однообразномъ потокѣ вѣчности.*»

Какъ напоминаютъ эти слова обѣ однообразномъ потокѣ вѣчности другія жалобы, которыя онъ подслушалъ у Герцена:— на холодный міръ абстракцій, который окружаетъ наконецъ душу человѣка, слишкомъ сильно живущаго теоретическою мыслью. И весь тонъ приведенныхъ строкъ и самъ странный замыселъ по-сѣтить Турцию и Аѳонъ—не пробуждаетъ-ли все это въ умѣ далекое воспоминаніе обѣ одномъ тоже писателѣ, о великому и странномъ поэту, который оставилъ, и навсегда, свою родину и поѣхалъ въ тѣ-же страны, съ тою-же мыслью прильнуть къ новой, еще не испытанной и первобытной жизни, и тамъ погибъ, сражаясь за свободу возставшаго народа. Но о чёмъ поэту мечтается, что онъ хочетъ сдѣлать и дѣлаетъ, то мыслителю всегда хочется только видѣть.

Но не будемъ вдаваться въ аналогіи и сближенія, которыя могли-бы повести нась слишкомъ далеко. И безъ нихъ не можетъ не стать ясенъ особенный смыслъ вражды противъ западничества, который мы встрѣчаемъ у г. Страхова, но находимъ также и у другихъ славянофиловъ. Есть въ европейской цивилизациіи одна черта, которую очень трудно объяснить, трудно понять, но которой невозможно не почувствовать всякому, кто внимательно

къ ней присматривался. «Страна святыхъ чудесъ» *), она неудержимо влечетъ насъ къ себѣ, и все, что находиамъ мы въ ней, мы не можемъ не одобрить, не въ силахъ бываемъ отрицать; сколько душевной красоты разлито въ ея исторіи, въ этихъ крестовыхъ походахъ, въ ея свободныхъ коммунахъ, въ величественномъ зданіи средневѣкового католицизма и изъ той полной одуництвія возстаніи противъ него, которое мы называемъ реформацію! Гдѣ найдемъ мы эту трепетъ жизни, какой наблюдаемъ въ возрожденіи, гдѣ увидимъ ясновидцевъ-художниковъ, какъ Рафаэль и Мурильо, и окутанные вѣчнымъ полумракомъ чудные каѳедралы, стѣны которыхъ возводились благочестивымъ населеніемъ цѣлыхъ городовъ? И какою мыслью все это облито, мыслью еще болѣе, нежели красотою. Станемъ-ли говорить мы, что все это только вѣнчанность? Не будемъ ни обманываться, ни обманывать: именно обиліе духа неудержимо влечетъ насъ къ этой цивилизациі, глубокая вѣра, скрытая въ ея исторіи, чрезвычайное чистосердечіе въ отношеніи къ тому, что она дѣлала въ каждый моментъ этой исторіи, къ чему стремилась, чего хотѣла. Развѣ эти художники, которые постомъ и ночью молитвою приготовлялись къ своему труду, не были глубокіе люди? Развѣ перепуганные и обрадованыи спутники Колумба, запѣвшіе «Тебе Бога хвалимъ» на цвѣтущемъ берегу новой земли, не были вѣрующіе? Оставимъ ложное и злое въ своемъ отношеніи къ Европѣ—оно недостойно насъ, недостойно того смысла, уразумѣть который мы хотимъ, подходя къ ней.

Этотъ глубокій, странный и необъяснимый смыслъ заключается въ томъ, что чѣмъ глубже входимъ мы въ духовный міръ Европы и чѣмъ тѣснѣе сливаемся съ нимъ, тѣмъ сильнѣе поднимается въ насъ чувство странной неудовлетворенности, необыкновенной душевной усталости; и, что особенно замѣчательно, эта неудовлетворенность и усталость испытывается и самими европейцами, именно тѣми изъ нихъ, которые являются глубочайшими и послѣдними выразителями ея началъ, движущихъ ею идей. Повидимому, усвоеніе правильныхъ мыслей ея философіи и строгихъ истинъ ея наукъ должно-бы удовлетворить разумъ, который и не ищетъ ничего кромѣ истины, и не стремится къ иному, кромѣ какъ къ правильности въ своемъ мышленіи; чувство должно-

*) Слова Хомякова.

бы испытывать тѣмъ большее наслажденіе, чѣмъ совершеннѣе міръ красоты, который передъ нимъ раскрывается; воля должна-бы быть удовлетворена стройностью и обдуманностью всѣхъ учреждений, черезъ посредство которыхъ она дѣйствуетъ на народныя массы. И это удовлетвореніе всѣхъ способностей человѣческой души дѣйствительно испытывается, оно-то и вовлекаетъ всѣ народы въ своеобразный и чудный міръ европейской цивилизациіи и дѣластъ неотразимыми удары, которые она наноситъ прочимъ культурамъ, отъ которыхъ всѣхъ теперь остаются почти только «обломки»,—она-же одна неудержимо и могущественно разрастается по землѣ. Но такъ должно-быть до конца, потому что окончательное совершенство мысли, послѣдняя красота искусства, полнота всѣхъ учреждений еще болѣе должны-бы удовлетворять требованіямъ человѣческой души, нежели все это въ несовершенной степени, только на пути къ идеалу. И вотъ именно здѣсь, гдѣ еще одинъ шагъ—и окончательное вѣчное торжество европейской цивилизациіи было-бы несомнѣнно, обнаруживается то странное явленіе, о которомъ мы заговорили, и неожиданно раскрываетъ двусмысленный характеръ этой цивилизациіи, заставляющей нѣкоторые народы пугливо сторониться отъ нея. По мѣрѣ приближенія къ идеалу, къ завершенію, даже болѣе: по мѣрѣ полнаго проникновенія въ духъ того, что уже и ранѣе, явившись въ Европѣ, съ наибольшою силою выразило въ себѣ это стремленіе,—чувство внутренней удовлетворенности пропадаетъ и замѣняется ощущеніемъ душевной усталости. И тотчасъ-же является вопросъ, не менѣе ясный и неотразимый, чѣмъ и самая лучшая истины ея наукъ и философіи: развѣ въ цѣломъ своемъ все, что создается человѣкомъ въ его исторіи и что мы называемъ цивилизациею, имѣеть какую-нибудь иную цѣль; кромѣ какъ удовлетвореніе человѣка? И если такая цѣль есть, но она не достигнута, то гдѣ-же смыслъ въ этомъ столь осмысленномъ зданіи?

Мы утверждаемъ только фактъ, безъ какихъ-либо объясненій къ нему. Нужно читать великія произведенія европейскихъ поэтовъ, нужно всматриваться въ созданія искусствъ, чтобы почувствовать всеобщность и постоянство этого факта. Что можетъ быть выше нежели «Фаустъ», а сколько невысказанный грусти залегло въ это чудное созданіе, въ это соединеніе высочайшей красоты и самой глубокой мудрости. Нужно читать воодушевленныя страницы Шатобриана, Руссо, Ламенэ и множество друг-

гихъ писателей, перечислить которыхъ трудно, чтобы увидѣть повсюду, что чѣмъ глубже проникали они къ тѣмъ скрытымъ силамъ, которыя движутъ европейскую исторію, тѣмъ болѣе покидалъ ихъ духъ свѣтлой радости. И то, что наблюдаемъ мы въ частностяхъ, развѣ не очевидно для всякаго и въ цѣломъ: развѣ когда-нибудь достигало развитіе наукъ такой высоты, какъ въ XIX в.? Не въ этомъ-ли столѣтіи жили самые великие поэты, когда еще въ европейской цивилизациіи было столько могущества, въ ея движеніяхъ—столько силы и правильности, когда она давала народамъ столько покоя, такъ заботливо охраняла каждого, столько предоставляла всѣмъ наслажденій и умственныхъ, и эстетическихъ? А счастливы-ли эти народы? Кто кромѣ дурныхъ подходитъ къ этимъ наслажденіямъ? Не ищутъ-ли лучшіе скорѣе какого-то страданія, и не страненъ-ли этотъ фактъ? Кто не смущится отъ него и не задумается надъ смысломъ европейской цивилизациіи и исторіи?

Мы все понимаемъ только въ частностяхъ, смыслъ-же цѣлаго отъ насъ скрытъ. Прослѣдить, что именно произвело это странное явленіе, что наилучшимъ образомъ посаженное дерево приносить столь горькій плодъ, мы не въ силахъ. Одно несомнѣнно для настѣ, это—что въ европейской цивилизациіи есть какое-то странное искривленіе, что, будучи столь правильной въ частяхъ, она заключаетъ что-то ложное въ своемъ цѣломъ,—и то, надъ чѣмъ трудились столь поколѣній и съ такими надеждами, вовсе не достигаетъ цѣли, ради которой надъ нимъ трудились. Первосвященники, законодатели, мудрецы и поэты цѣлаго ряда народовъ, самыхъ глубокихъ и даровитыхъ въ исторіи, воздвигли чудное зданіе, и вотъ когда оно почти уже готово и осталось положить послѣдніе камни, мы, поздніе потомки ихъ, входя въ это зданіе, испытываемъ странное смущеніе, тревожно—какъ никогда—бьется наше сердце, и рука не поднимается, чтобы подобрать оставшіеся камни и положить ихъ на мѣсто. Великій Гёте задумывается надъ нимъ, Байронъ съ отвращеніемъ и ненавистью бросаетъ въ него свои проклятія, всѣ торопливо стараются выйти и только слѣпые, да совершенно глупые, не испытывая никакого страха, продолжаютъ идти впередъ.

Очевидно, какое-то тонкое и глубокое зло, которое мы не въ состояніи различить, анализировать и понять, вошло въ цѣлый строй европейской цивилизациіи; и для того, чтобы наука достиг-

ла когда-нибудь возможности оценить его, повидимому ей нужны гораздо больше глубокая свидетельств о природе человеческой души и о строении исторического развития, нежели какими она обладает теперь. Мы же можем пока только чувствовать, что совершилось что-то похожее на древнюю историю о том, какъ некогда голодный сынъ старого отца промынялъ свое первенство и связанныя съ нимъ обстоятельства на чеченскую похлебку. Что-то невознаградимо-дорогое, безъ чего и невозможно жить, европейское человечество утратило, созиная свою цивилизацию, и томится, войдя въ ея чудные формы.

Здѣсь именно и лежитъ разгадка нашихъ особенныхъ отношений къ западной Европѣ и причина возникновенія двухъ великихъ партий, которая въ теченіе цѣлаго столѣтія раздѣляютъ нашу литературу и наше общество на два враждующіе лагеря. Еще не такъ давно проводилась мысль, что значение этихъ партий уже минуло теперь, что никто больше не можетъ въ настоящее время оставаться ни чистымъ западникомъ, ни исключительнымъ славянофиломъ. Напротивъ, мы думаемъ, что споръ этотъ не конченъ, и даже утверждаемъ, что значение его далеко переступаетъ тѣсные границы национального и имѣеть всемирно-историческую важность. Въ подобномъ-же отношеніи къ западно-европейской цивилизации, въ какомъ стоитъ и нашъ народъ, стоитъ длинный рядъ другихъ народовъ, но только у насъ возникъ вопросъ, слѣдуетъ ли, оставивъ пути самостоятельного развитія, вступить на путь европейской цивилизации, или удержаться отъ этого? Другие же народы вступаютъ или готовятся вступить на этотъ путь, не задавшись вопросомъ, который такъ смущаетъ насъ. Ясно, что то или иное решеніе, которое мы вынесемъ для него, будетъ имѣть значеніе и для всѣхъ другихъ народовъ.

Различіе въ отношеніи къ частному и къ цѣлому составляетъ узелъ всѣхъ этихъ вопросовъ,—всего, что мы решали и не умѣли решить, и всего, что намъ предстоитъ разрешить — съ трудомъ гораздо большимъ, нежели мы когда-нибудь думали объ этомъ. Когда—два вѣка назадъ—совершался переломъ въ нашей истории, великий государь, ведший за собою нашъ народъ, видѣлъ передъ собою также только частное и къ частному-же относилось каждое его дѣяніе, всякий его замыселъ и каждый поступокъ. Частное-же въ европейской цивилизации невозможно не одобрить и нельзя удержаться отъ того, чтобы его не принять. Отсюда—твердость

его дѣятельности, отсутствіе какихъ-либо сомнѣній въ ея благотворности, при величайшей любви къ своему народу, при жертвѣ будущности его—себя, себѣ близкихъ и цѣлаго поколѣнія этого народа. Не могло быть сомнѣнія о томъ, нужно-ли, оставилъ прежний строй войска, завести регулярное, когда первое били, а второе было; нельзя было оставаться при прежнемъ судостроеніи и при неопытныхъ матросахъ и не ввести перемѣнъ, сводившихся къ тому, чтобы люди не тонули болѣе въ морѣ и суда не разбивались. И во всемъ другомъ, также, вопросъ сводился къ ясной и простой дилеммѣ: нужно-ли данное дѣло совершать по-прежнему, дурно, или какъ-нибудь иначе и хорошо; и слѣдуетъ-ли намъ, какъ и прежде, всегда ожидать неуспѣха, или стремиться, надѣяться и наконецъ достигнуть успѣха? Дѣятельность имѣеть всегда предметомъ своимъ конкретное, единичное, она не можетъ коснуться общаго иначе, какъ透过 это конкретное, улучшать, которое составляетъ задачу всякаго практическаго дѣятеля. Европейская-же цивилизация содержитъ въ себѣ неопределенное множество улучшенныхъ формъ всего частнаго, и притомъ во всѣхъ направленіяхъ, и каждый разъ, когда мы думаемъ объ улучшении, нашъ взоръ всегда и невольно обращается къ ней. Здѣсь и лежитъ ея неотразимость, и здѣсь-же тайная причина того, почему съ вопросомъ объ отношеніи къ ней всегда связывается вопросъ объ отношеніи къ прогрессу, какъ просто улучшенію, въ абстрактномъ значеніи этого слова. Прошло два вѣка со временемъ Петра Великаго, цѣлая группа людей съ утонченнымъ умомъ и благородными характерами фанатично борется противъ его дѣла, видѣть въ немъ гибель дорогой Россіи, и всякий разъ, однако, когда имъ предстоитъ не говорить и мыслить, но дѣлать, они дѣлаютъ то самое и такъ именно, что и какъ дѣлаетъ и онъ. Развѣ желая издать «Семейную хронику» своего отца, И. С. Аксаковъ не заботился о томъ, чтобы печатаніе книги было наиболѣе скоро, дешево и красиво? Когда заболѣлъ онъ самъ, развѣ онъ не послалъ за медикомъ, наилучше изучившимъ природу и свойства болѣзней и способы бороться съ ними, по наилучшимъ книгамъ и у наиболѣе опытныхъ учителей? И далѣе, когда уже существуютъ въ странѣ движение и торговля, и прорыты дороги, облегающія все это, развѣ можетъ быть какое-нибудь сомнѣніе въ томъ, чтоѣздить по нимъ скорѣе—лучше, чѣмъ медленно, что уставать при этомъ тяжело и было-бы лучше не уставать, что

платить дорого трудно, а дешево легко? Но, точно также и министръ, вѣдѣнію которого поручено образованіе подростающихъ поколѣній цѣлаго народа, развѣ не долженъ тревожно заботиться о томъ, чтобы обученіе происходило по наилучшимъ книгамъ и съ помощью наилучшихъ методовъ, чтобы свѣдѣнія, выносимыя дѣтьми изъ школы, были обильны и твердо усвоены? Развѣ не должна была смущать другого министра несправедливость въ судахъ, запутанность и противорѣчія въ законахъ, невообразимая медленность каждого процесса, и всѣ они не должны были поступать такъ-же, какъ поступалъ Петръ Великій въ своихъ заботахъ обѣ арміи, флотѣ и администраціи, и такимъ образомъ всѣ мы, отъ государя и до послѣдняго бѣдника, руководимые цѣлью дѣлать каждое дѣло наилучшимъ образомъ, все болѣе и болѣе втягиваемся въ формы европейской цивилизаціи, гдѣ уже все и во всѣхъ направленияхъ улучшено въ наибольшей степени.

Абстрактность улучшенныхъ формъ и составляетъ могущество европейской цивилизаціи, универсальность ея характера и всемирность ея стремлений; ею одерживаетъ она всѣ побѣды, даже и не стремясь къ нимъ, невольно; противъ нея безсильны бороться другія культуры, или тая и претворяясь въ формы этой цивилизациі, или разбиваясь при встрѣчѣ съ нею. Народы, нѣкогда столь же слабые, такъ-же грубые и темные, такъ-же гибнувшіе въ борьбѣ съ природою и между собою, какъ и другіе, не захотѣли переносить своихъ страданій, какъ терпѣливо переносили ихъ они. Болѣе ярко, чѣмъ всѣ другіе, чувствовали они несправедливость и не захотѣли мириться съ нею, вдумывались въ причины бѣдствій, которая наносила имъ природа, и стали бороться съ ними. Шагъ за шагомъ, въ теченіе полутора тысячелѣтія, они переходили отъ улучшения къ улучшению, все болѣе преодолѣвая препятствія, все чаще научаясь достигать успѣха. Въ неустанной борьбѣ силы ихъ укрѣпились и умъ ихъ изошрился, все шире становилась ихъ дѣятельность; желая прежде избѣжать только невыносимыхъ страданій, они стали, наконецъ, думать о томъ, чтобы не переносить болѣе и легкихъ. Отъ борьбы противъ частнаго, что губило ихъ, отъ стремленія къ единичнымъ цѣлямъ, они стали переходить къ цѣлямъ и заботамъ болѣе общимъ. Изошрившаяся мысль послужила могучимъ средствомъ для всего этого. Ничѣмъ не пренебрегали они, ни у кого не стыдились учиться; но ко всему прилагали свой трудъ и свою мысль—и все претворялось, какъ пишетъ

въ растущее тѣло ихъ. Надъ чѣмъ не думали никогда люди—они задумались, чего не хотѣли они ни разу—эти народы захотѣли; и поняли они почти все, что доступно для человѣка, и достигли почти всего, чего онъ могъ пожелать. Создались государства и удивительныя учрежденія въ нихъ; возникли стройныя зданія наукъ и чудный міръ философіи. И теперь, послѣ столькихъ вѣковъ исторического труда, силы этой цивилизаціи такъ напряжены и такъ полны, что, кажется, что-бы ни поставила она для себя цѣлью, она успѣеть ее достичнуть, и никогда не устанетъ она въ этомъ, потому что именно достиганіе составляетъ высшее ея наслажденіе.

Вотъ почему прогрессъ, какъ улучшеніе, составляетъ сущность европейскаго развитія, и европейскую цивилизацію можно определить какъ полноту улучшенныхъ формъ человѣческаго существованія. Однако, кромѣ частнаго, эта цивилизація есть и нѣчто общее; и сверхъ того, что въ ней всѣ части улучшены, есть нѣ-который смыслъ въ цѣломъ, составленномъ изъ этихъ частей. Въ высшей степени замѣчательно, что Европа сама не знаетъ этого смысла; но не менѣе замѣчательно, что къ нему именно, къ этому общему относится все недовольство, все смущеніе и порою ненависть и отвращеніе, которое она внушаетъ собою. Отсюда вытекаетъ неопределѣленность этого смущенія, кажущаяся безпредметность этой ненависти, которая всегда представляется несправедливо-придирчиво, когда, пытаясь говорить для всѣхъ понятнымъ языкомъ, она обращается противъ чего-нибудь частнаго. Всегда можетъ быть предложенъ вопросъ: почему вы не боретесь противъ этого или того зла въ формахъ политической борьбы, которая для васъ открыта, или путемъ ученыхъ трактатовъ, издававать которые вамъ никто не мѣшаетъ? Отсюда-же—тотъ замѣчательный фактъ, что не политическіе и общественные дѣятели, видящіе наибольшее количество еще неисправленныхъ золъ, выказываютъ недовольство европейскою цивилизаціей, но поэты и философы. Первые всегда обращены къ частному и не чувствуютъ общаго; и какъ ни много зла предстоитъ имъ улучшить,—зная, какъ въ европейской исторіи ничто изъ частнаго никогда не было непреодолимо,—они любятъ эту исторію и созданную ею цивилизацію, на нее одну надѣются, готовы простить все и примириться со всѣмъ, кромѣ какъ съ восстаніемъ противъ нея или даже простымъ ея осужденіемъ. Напротивъ, мыслители и поэты, которые наиболѣе слабо чувствуютъ частное, но за-то наиболѣе глубоко

связаны съ общимъ и, какъ всѣ признаютъ это, наиболѣе чутки и проницательны изъ всѣхъ людей, непреодолимо и безотчетно отвращаются отъ того, что такъ цѣнять и любить практики.

Къ этому-же общему относится и отрицаніе, которое выскаживають славянофилы, и общее-же осуждаютъ они и въ реформѣ Петра. Два вѣка спустя послѣ его преобразованій, все частное, что стѣкалъ онъ, исчезло: оно или замѣнено другимъ, или уничтожено, или измѣнено до неузнаваемости. Ни одинъ изъ фактовъ, имъ созданныхъ, не существуетъ болѣе вполнѣ, но существуетъ общій смыслъ этихъ фактовъ, о которомъ онъ вовсе не думалъ, и мы живемъ въ циклѣ исторіи, имъ начатомъ, — движемся въ направленіи, имъ данномъ. Только къ этому общему смыслу, который одинъ остался и одинъ значущъ, мы можемъ относить свои сужденія, какъ онъ, въ свое время, только къ частному могъ относить свою дѣятельность. Дилемма, которая была для него, такъ проста, для насъ сдѣлалась необыкновенно сложной и трудною. Онъ улучшалъ армію, создавалъ флотъ, искореняя злоупотребленія въ администраціи; мы-же, ничего не говоря объ этомъ, думаемъ о разрывѣ въ нашей исторіи, утверждаемъ невозможность нормального роста для дерева, разъ оно переломлено, — мы страшимся за все наше существо и спрашиваемъ: «что же останется отъ насъ, кромѣ языка и его формъ, когда, все стремясь стать лучше, мы шагъ за шагомъ будемъ входить въ улучшенныя формы европейской цивилизациіи и, наконецъ, войдемъ въ нихъ безъ остатка? Не станемъ-ли мы только этнографическою массою, и неужели словарь своеобразныхъ словъ, да своеобразная грамматика, которую мы сами не съумѣли даже обдумать, есть все, что мы оставимъ послѣ себя въ исторіи? Неужели для этого появлялся народъ нашъ и самобытно росъ уже восемь вѣковъ? Мы стали лучше во всѣхъ отношеніяхъ, въ каждой подробности, но какою цѣною купили мы это? Мы стали пустымъ остовомъ, принявшимъ чужое содержаніе послѣ того, какъ его собственное выброшено за ненужностью, стали одеждой, въ которой движется, живетъ и развивается иное вещество, которое съумѣеть и сохранить ее до времени, но, конечно, и бросить, когда она износится, и замѣнить другою одеждой.»

Вотъ одна половина славянофильского отрицанія, вытекающаго изъ общаго взгляда на нашу исторію и будущность нашего народа.

Его вторая половина обращена къ самой европейской цивилизациіи и состоить въ отрицаніи ея, основанномъ на знаніи въ ней общаго. Эта цивилизациія не можетъ быть нормальною для всего человѣчества, она не нормальна даже для европейской части его, если заканчивается страданіемъ. Пусть все частное въ ней совершенно, — есть глубокая разстроеннность въ ея цѣломъ, если вмѣсто того, чтобы испытывать гармонію, радость и успокоеніе, естественную награду столь продолжительного труда, духъ человѣческих испытываетъ въ ней неудовлетворенность. Происходитъ-ли это отъ того, что столь совершенныя части въ ней несовершенно соединены, — и эта дисгармонія отражается разстроеннностью духа, нарушеніемъ въ немъ гармоніи, или другое-что закралось въ европейскую цивилизацио—этого рѣшить невозможно. Но какъ несомнѣнно, что стремиться къ страданію какъ вѣнцу своего бытія было бы ложно, такъ-же несомнѣнно, что человѣчество должно удержаться отъ того, чтобы вступать всцѣло въ формы европейской цивилизациіи.

Ясно, что подобное отрицаніе могло быть результатомъ не безотчетнаго, инстинктивнаго отвращенія слѣпыхъ национальныхъ инстинктовъ противъ стремящейся вытѣснить ихъ иной культуры. И действительно, оно всегда сосредоточивалось въ тѣсномъ кругѣ немногихъ людей, утонченныхъ по своему образованію, въ высокой степени склонныхъ къ обобщенію, наконецъ свободныхъ по своему положенію отъ какихъ-нибудь частныхъ заботъ или единичныхъ и временныхъ интересовъ. Они не были людьми, отрицающими то, что они мало понимали; напротивъ, они отрицали именно потому, что слишкомъ глубоко поняли то, что другимъ известно было только своею поверхностною стороной и лишь въ частностяхъ. Скажемъ болѣе: они были люди до конца выполнившіе мысль Петра I, и именно изъ полноты этого выполненія вынесши ея отрицаніе; тогда какъ всѣ остальные еще только движутся въ предѣлахъ этой мысли, только идутъ выполнять ее, главною-же, коренною частью своего существа продолжаютъ оставаться людьми дореформенными: дѣятельность и благожелательность, какъ и въ самомъ Петрѣ I, остается ихъ главною чертою. Такимъ образомъ, если мы глубже всмотримся въ психический складъ славянофиловъ и западниковъ, мы найдемъ въ немъ обратное тому, что они видимо утверждаютъ. Западники являются таковыми лишь въ своихъ стремленіяхъ, и именно потому, что по

своему духовному содержанию и его складу они остаются часто еще нетронутыми русскими; славянофилы такъ страстно тянутся прикоснуться къ родному, такъ глубоко понимаютъ его и такъ высоко цѣнятъ именно потому, что такъ безвозвратно, быть-можеть, уже порвали жизненную связь съ нимъ, такъ повѣрили нѣкогда универсальности европейской цивилизациіи и со всею силой своихъ дарованій не только въ нее погрузились, но и страстно коснулись тѣхъ глубокихъ ея основъ, которыя открываются только высокимъ душамъ, но приосновеніе къ которымъ никогда не бываетъ безнаказаннымъ. Кто станетъ отрицать, что во многихъ нашихъ западникахъ, оставшихся таковыми до конца, не болѣе жить ясный и спокойный духъ нашего народа, и кто не замѣтитъ, напротивъ, нѣкоторой сумрачности въ складѣ чувства и глубокаго теоретизма въ складѣ ума у всѣхъ нашихъ славянофиловъ? Исторіи, самой конкретной изъ наукъ, они никогда не изучали ради ея самой, обращались къ ней лишь за пособіемъ для оправданія своихъ теорій; они не любили факта, какъ такового; даже изъ всѣхъ русскихъ историковъ совпадъ съ ними во взглядахъ на нее, равно какъ въ своихъ симпатіяхъ и антипатіяхъ, единственный, который обрабатываетъ ее, и съ такимъ успѣхомъ, теоретически *); напротивъ, самый слабый изъ нашихъ историковъ по силѣ обобщенія и наиболѣе привязанный къ конкретному **) былъ чистый западникъ.

Едва-ли не здѣсь слѣдуетъ искать разгадки постоянной безуспѣшности славянофильского ученія: ихъ мудрость не привлекала къ себѣ, ихъ горячее слово не убѣждало, холодъ и почти враждебность всегда окружали ихъ. Они сами склонны были приписывать это глупости окружающихъ, и высокомѣрное отношеніе ихъ къ людямъ и фактамъ своего времени общеизвѣстно. Но кажется, что причины здѣсь лежать гораздо глубже. Онѣ скрываются въ дисгармоніи ихъ психического склада съ психическимъ складомъ нашего общества, или слабо тронутаго, или еще не тронутаго европейскою цивилизацией.

Понять, въ чёмъ именно разошлись двѣ великия партіи нашего общества—значитъ понять глубокую правоту каждой изъ нихъ,

*.) В. О. Ключевскій. См. предисловіе къ его „Боярской думѣ древней Руси“, напечатанное предварительно въ „Русской мысли“, а также известный разборъ типа Онѣгина.

**) Разумѣемъ Костомарова.

невозможность для одной изъ нихъ поступать иначе и для другой—иначе мыслить. Понять особенности въ психическомъ ихъ складѣ—значить понять множество литературныхъ явлений. Мы обращаемся снова къ одному изъ нихъ, которое такъ надолго оставили для этихъ общихъ разсужденій.

III.

«Неудовлетворенность тѣмъ, что обыкновенно называется познаніемъ, есть чувство очень обыкновенное», писалъ г. Страховъ въ 1887 г., по поводу своей полемики съ Бутлеровымъ, который обнаружилъ это чувство и высказалъ его въ прекрасныхъ и глубокихъ словахъ.—«Не только пытаясь естественно-научными познаніями, но *поощряя и всякия другія*, мы можемъ оставаться совершенно голодными. Не возможно ли составить общую и точную формулу этого недовольства? Когда я окончилъ свою книгу „Миръ какъ цѣлое“ (1872 г.), въ которой съ увлечениемъ развивалъ главная и общія ученія о природѣ, мною овладѣло это чувство неудовлетворенности, и я позволю себѣ привести здѣсь то мѣсто, гдѣ я пытался тогда дать себѣ отчетъ въ своихъ чувствахъ *). Мы повторимъ его также, потому что оно можетъ служить ключомъ объясненія ко всей литературной дѣятельности г. Страхова. Высказанное и повторенное на разстояніи двадцати пяти лѣтъ, оно обнимаетъ почти всю его дѣятельность:

«Если мы чувствуемъ недовольство этимъ взглядомъ (т.-е. тѣмъ, который изложенъ въ книгѣ), если онъ въ насъ что-то затрогиваетъ и чему-то противорѣчитъ, то нѣтъ никакого сомнѣнія, что источникъ такого сомнѣнія заключается не въ умѣ, а въ какихъ-нибудь другихъ требованіяхъ души человѣческой. Человѣкъ постоянно почему-то *враждуетъ противъ рационализма* (курсивъ автора), и эта вражда упорно ведется всѣми, спиритуалистами и материалистами, вѣрующими и скептиками, философами и натуралистами».

«Отдать себѣ отчетъ въ этой враждѣ есть величайшая задача мысли**).

Вотъ слова, могущія внушить самое глубокое удивленіе. Обра-

*) Н. Страховъ: „О вѣчныхъ истинахъ (Мой споръ о спиритизмѣ)“. Спб. 1887, стр. XXIX.

**) Его-же: „Миръ какъ цѣлое“. Спб. 1872, стр. IX.

шаясь къ самому предисловию книги «Миръ какъ цѣлосъ», мы узнаемъ изъ него, что основою для мыслей автора, развитыхъ въ этой книгѣ, послужили, впервыхъ, данные естественныхъ наукъ и, во вторыхъ, философія Гегеля, именно его діалектика. Ланге въ «Исторіи матеріализма» замѣчаетъ, что одна специальная работа въ какомъ-нибудь отдельѣ естествознанія болѣе знакомить того, кто произвелъ ее, съ общимъ духомъ и методомъ всего круга наукъ о природѣ, нежели самая обширная начитанность въ этихъ наукахъ, сдѣланная съ цѣлью ознакомиться съ ихъ содержаниемъ въ послѣднихъ выводахъ. Это условіе, очень рѣдко выполняемое, было выполнено г. Страховыхъ. Но уже специальные работы (произведенныя имъ въ области сравнительной анатоміи) внушили ему столь общую идею, какъ идея рационального естествознанія. Склонности ума совлекли его съ пути чистаго естествознанія, или, точнѣе, онъ вошелъ въ болѣе широкій и гибкій міръ философіи, чтобы съ точекъ зрѣнія, въ ней открывающихся, посмотретьъ на тѣ данные, которыхъ въ кругѣ наукъ о природѣ скорѣе излагаются только, нежели объясняются.

Интересъ къ факту, однако, уже настолько окрѣпъ въ немъ, что во всемъ рядѣ послѣдующихъ философскихъ трудовъ его мы не находимъ и тѣни развитія чистыхъ понятій, съ какимъ обычно встрѣчаемся въ философскихъ книгахъ, но видимъ только философскій анализъ, приложенный къ явленіямъ вицѣшней природы или внутренней жизни человѣка. Философія Декарта и философія Гегеля наиболѣе, какъ кажется, послужили къ выработкѣ его міросозерцанія, и обѣ не столько содержаниемъ своимъ, сколько методомъ. Въ первой онъ нашелъ принципы, и до сихъ поръ развиваляемые физическими науками: это—принципы механическаго объясненія природы; во второй онъ нашелъ разработку категорій, т.-е. понятій, не сводимыхъ одно на другое и однако выводимыхъ другъ изъ друга, подъ которыя подводятся, какъ подъ общее, всѣ единичныя явленія природы и всѣ разнообразныя ея области.

Такимъ образомъ подъ рационализмомъ, неудовлетворенность которымъ почувствовалъ г. Страховъ, разумѣется не какая-нибудь односторонность научнаго изслѣдованія, но духъ знанія во всей широтѣ его, въ его цѣломъ; и въ этомъ духѣ, которымъ онъ такъ глубоко и, повидимому, такъ довѣрчиво проникся въ началѣ, ничто не было привлечено тѣмъ народомъ, къ которому

онъ принадлежалъ: онъ возникъ и выросъ въ западной Европѣ, какъ одна изъ лучшихъ и самыхъ совершенныхъ формъ ея развитія. Въ различныхъ мѣстахъ его многочисленныхъ книгъ можно видѣть, до какой степени высоко въ немъ понятіе о наукахъ, какъ удивляется онъ твердости ихъ началь и выдержанности ихъ методовъ. И вотъ, однако, противъ этихъ именно наукъ, предмета его главнаго удивленія, очевидно не въ частностяхъ ихъ, но въ цѣломъ, поднимается у него чувство общей неудовлетворенности.

Высказанное болѣе нежели четверть вѣка назадъ, оно опредѣлило его отношеніе къ западно-европейской цивилизациі и къ той, которой смыслъ еще неизвѣстенъ, но которая можетъ, при благопріятныхъ условіяхъ, развиться въ средѣ нашего народа. Отсюда — горячая его полемика (противъ г. Вл. Соловьевъ) въ защиту книги Данилевскаго «Россія и Европа», где развита теорія культурно-историческихъ типовъ, какъ ряда своеобразныхъ цивилизаций, развивающихся въ историческомъ процессѣ человѣчества; онъ-же первый, въ журналистикѣ *), и привѣтствовалъ и объяснилъ главный смыслъ этой книги. Отсюда участливое его вниманіе къ судьбамъ славянофильской партіи, высказавшееся наприм. въ статьѣ «Поминки по И. С. Аксаковѣ», одной изъ лучшихъ въ сборникѣ «Борьба съ Западомъ» (т. 1). Отсюда—всегда исполненные уваженія слова его о русскомъ народѣ и его исторіи. Но когда читаешь ихъ, всегда и невольно приходишь на умъ его «Воспоминанія о Ф. М. Достоевскомъ», который былъ его близкимъ другомъ и товарищемъ по журнальной дѣятельности (см. первое посмертное изд. сочиненій Достоевскаго, 1882 г., т. 1). Слишкомъ глубокій теоретизмъ душевнаго склада потому, быть можетъ, и вызываетъ неудовлетворенность, что всякаго, кто имѣлъ несчастье дойти до него, онъ отдаѣтъ глубокою и уже никогда не переступающею чертой отъ всего живого и единичнаго. Тѣ связи, которыя соединяютъ каждого съ окружающею средою, какъ будто перерываются, и глубокое внутреннее единочество, способность ко всякому предмету или явленію, къ лицу, народу или исторіи становиться лишь въ отношеніе наблюдателя и мыслителя—есть невольное послѣдствіе этого проступка противъ собственной души, есть неизбѣжная кара за нарушеніе гармоніи ея въ

*) Въ „Зарѣ“ за 1871 г., мартъ.

развитії. Мы склонны думать, что эта отчужденность теоретического ума была присуща и разбираемому нами писателю, и всякий разъ, когда онъ привязывался къ чему-нибудь, онъ собственно оцѣнивалъ дорогія ему качества и влекся болѣе къ нимъ, нежели къ ихъ живому носителю. Это не можетъ не причинять глубокаго внутренняго страданія, и отсюда-то, думается намъ, вытекла та особенность, что неудовлетворенность рационализмомъ высказалась у г. Страхова какъ «враждебность» къ нему, а не какъ простое сознаніе его недостаточности только; не менѣе значительно и то, что попытавшись истолковать точный смыслъ этой враждебности, онъ заговорилъ объ исполненіи *дома*, какъ о томъ, что можетъ болѣе всего другого успокоить встревоженный духъ человѣка *). Понятіе долга, выросшее на холодной почвѣ Рима, абстрактный его права и тоски его стоицизма есть лишь сомнительная замѣна истинныхъ чувствъ, которыми жива всякая жизнь. Должное указывается умомъ и выполняется, когда болѣе не подсказываетъ сердцемъ и жизнь уже не творится, не играетъ, но только поддерживается.

Мы входимъ здѣсь въ темную, всегда скрытую область соотношенія отдѣльныхъ сторонъ психической жизни. Духовный міръ человѣка есть уже отъ начала нѣчто въ высшей степени сложное, но одновременно съ этимъ и нѣчто глубоко гармоничное, цѣльное. Сохранить эту цѣльность, не разстроить эту гармонію душевныхъ силъ есть важнейшая задача всякаго личного существованія, но она, къ несчастію, сознается человѣкомъ тогда уже, когда разстроена непоправимо! Грусть, доходящая до помѣшательства у Гамлета и вызывающая въ Фаустѣ жажду, возвратившись къ юности, вторично и иначе пережить свою жизнь, вытекаетъ изъ того именно, что въ нихъ обоихъ основная гармонія души была нарушена, что у одного надѣялъ волю, а у другого надѣячувствомъ такъ воспреобладала мысль. Но уроки особенно глубокіе для человѣка всегда выслушиваются имъ небрежно, или не понимаются; ихъ правда и трудно выполнить. Во всякомъ случаѣ духовное развитіе, которое старается дать намъ государство и общество, къ которому мы стремимся сами, всегда почти состоить въ томъ, даже начинается съ того, чтобы нарушить цѣльность и гармоничность внутренней жизни. Мы силимся стать виртуозами, не замѣчая, что становимся только калѣками.

*) „Міръ какъ цѣлое“, стр. X.

Трудно сохранимая въ личномъ существованіи, эта гармонія душевныхъ способностей еще неизмѣримо труднѣе сохраняется въ исторіи, и мы склонны думать, что глубокая разстроенность европейской цивилизаціи объясняется чрезмѣрнымъ нарушеніемъ въ ней равновѣсія духовныхъ элементовъ, подавленностью однихъ изъ нихъ, исключительнымъ развитіемъ другихъ, наконецъ несогласованностью ихъ всѣхъ между собою. Сюда слѣдуетъ, быть можетъ, присоединить ложность и самого типа, по которому развиты по крайней мѣрѣ нѣкоторые изъ этихъ элементовъ. Совсѣмъ этимъ въ высшей степени соединена необыкновенная изощренность, высокое совершенство частей и чрезвычайное могущество, видимое обилие жизни—все то, о чёмъ мы единственно и можемъ утверждать, что оно несомнѣнно присуще европейской цивилизациі. Но не будемъ слишкомъ входить въ разсмотрѣніе этихъ трудныхъ вопросовъ; и сказанного достаточно, чтобы понять отчетливо, какими путями разбираемый нами писатель пришелъ ко всѣмъ своимъ отрицаніямъ и утвержденіямъ.

Перенесенное страданіе, какъ и испытанное счастіе, всегда является источникомъ завѣтнаго и непреклоннаго въ нашихъ убѣжденіяхъ; оно-же открывается для насъ и внутреннюю, тайную жизнь чужой души, углубивъ и усложнивъ жизнь собственной. Въ незамѣтномъ уклонѣ мыслей, въ особомъ тонѣ рѣчи мы открываемъ присутствіе чертъ, которыхъ не можемъ не сознавать и въ собственномъ, и по нимъ заключаемъ безошибочно обѣ общности причинъ; которыхъ ихъ вызвали. Эту проницательность сужденія, основанную на богатствѣ собственной внутренней жизни, мы находимъ у г. Страхова. Неудовлетворенность—и безответчная—одною изъ самыхъ общихъ и великихъ формъ европейской цивилизаціи, дала ему возможность безошибочно опредѣлить подобное-же недовольство ею и въ другихъ умахъ, которое сказалось также враждебно, повело къ такимъ-же, какъ и у него, страстнымъ отрицаніямъ. Рационализированіе природы въ философіи и наукѣ, безграницное стремленіе, избѣгая всякаго страданія, улучшать каждую частность жизни и черезъ это надежда достичнуть ея полнаго совершенства, вѣра въ могущество своей природы и отверженіе необходимости для себя какой-нибудь помощи въ религії—все это можетъ считаться главными и самыми общими чертами европейскаго общества второй половины XIX-го вѣка. Въ цѣломъ рядъ западныхъ писателей онъ открываетъ,

какъ вѣра въ рационализмъ столь-же горячая, какую онъ исповѣдалъ нѣкогда, привела ихъ къ недовольству и отрицанію другихъ сторонъ европейской цивилизациіи, то подавляемому еще, какъ у Штрауса, то колеблющемуся, какъ у Д. С. Милля, то исполненному какого-то недоумѣнія, какъ у Фейербаха; то открытому и рѣзкому, какъ у Ренана и отчасти у Герцена *).

Но если для западно-европейскихъ писателей за отрицаніемъ своей цивилизациіи остается только сумракъ и отчаяніе, то для писателя иного народа, еще не вошедшаго окончательно въ формы этой цивилизациіи, остается надежда на возможность иной культуры. Къ этой надеждѣ примыкаетъ, изъ нея исходить вся критическая дѣятельность г. Страхова.

Одно изъ самыхъ удивительныхъ заблужденій славянофильской партии составляетъ мнѣніе, что пережитое въ два послѣдняя столѣтія нашимъ обществомъ можетъ быть какъ-то забыто, и мы снова можемъ вернуться къ простотѣ своего быта до реформы Петра, чтобы затѣмъ продолжать свою исторію такъ, какъ будто бы въ ней не было перерыва. Здѣсь забывается, что если все можемъ мы измѣнить, все заимствованное—снять съ себя, то не можемъ возвратиться къ простотѣ прежняго созерцанія, не можемъ истребить въ себѣ понятій и чувствъ, усвоенныхъ и сложившихся въ два послѣднія вѣка. А въ нихъ, очевидно, и заключается все дѣло; формы-же быта и все прочее вѣнчшее являются лишь необходимую ихъ оболочкою, которая не можетъ не соответствовать своему внутреннему содержанію. Такимъ образомъ возможность иной культуры въ нашей исторіи обусловливается возможностью для насъ, сохраняя уже возникшую сложность своего созерцанія, перейти въ немъ съ типа западно-европейскаго къ типу иному, который соотвѣтствовалъ бы тому, какой въ неразвитой формѣ продолжаетъ и до сихъ поръ существовать въ нашемъ простомъ народѣ. Эта возможность дѣйствительно открывается въ нашей литературѣ, историческія заслуги которой теперь нельзя даже и оцѣнить.

Въ произведеніяхъ ряда поэтовъ и художниковъ, начиная отъ Пушкина, послѣ нѣкотораго колебанія и склоненія въ сторону западно-европейскихъ типовъ духовной красоты человѣка, мы

*). См. „Борьба съ Западомъ въ нашей литературѣ“, т. 1. и первое изданіе 2-го т. (статья о Фейербахѣ).

замѣчаемъ возвращеніе къ самостоятельности и созданіе типовъ и характеровъ, въ безусловной нравственной красотѣ которыхъ мы не можемъ сомнѣваться,—передъ которыми преклоняются, какъ только узнаютъ ихъ, и западные писатели, и которые, вмѣстѣ съ тѣмъ, совершенно гармонируютъ съ душевнымъ складомъ, до сихъ поръ живущимъ въ нашемъ простомъ народѣ. Эта особенность нашей литературы впервые была замѣчена и оценена Ап. Григорьевымъ,—критикомъ, который ни при жизни, ни послѣ смерти не былъ оцененъ по достоинству. Онъ открылъ новую точку зреінія на нашу литературу, и такъ какъ она есть истинная, то трудно допустить мысль, чтобы она не стала когда-нибудь общепринятою. Съ чуткостью, которая послѣ всего сказаннаго должна быть ясна, г. Страховъ понялъ вѣрность этого зреінія, огњнилъ всю его значительность для нашего духовнаго развитія и со всею страстью примкнулъ къ зреініямъ Ап. Григорьева. Онъ собралъ его статьи, разсѣянныя въ малораспространенныхъ журналахъ, и приведя ихъ въ систематической порядокъ, издалъ, со своимъ предисловіемъ, біографіею и указателемъ *). Къ величайшему сожалѣнію, изданіе это не имѣло успѣха. Въ долгіе годы послѣдующей собственной литературной дѣятельности онъ испыталъ самъ, какъ трудно добиться въ читающемъ обществѣ вниманія, какъ всякая оригинальность и самостоятельность проводимыхъ зреіній сопровождаются враждебностью или отчужденностью остальной журналистики, въ своей совокупности представляющей непреодолимую силу, способную какъ дать распространеніе самымъ пустымъ мысламъ, такъ и задавить идею, самую высокую и плодотворную.

Энергія дѣятельности, когда она неутомима и сопровождается талантомъ, можетъ однако преодолѣть и эту косную силу. Въ рядѣ собственныхъ превосходныхъ статей по поводу «Войны и мира», г. Страховъ изложилъ предварительно точку зреінія Ап. Григорьева, и тѣмъ гораздо болѣе, нежели изданіемъ его сочиненій, способствовалъ ознакомленію съ нею широкихъ слоевъ читающаго общества **). Затѣмъ эту-же точку зреінія онъ приложилъ и къ разбираемому произведенію. Ихъ глубокое соотвѣтствіе, какъ теоріи и факта, не могло не поразить всякаго. Въ от-

*) Сочиненія Аполлона Григорьева, т. 1. Спб. 1876.

**) „Критическая статья объ И. С. Тургеневѣ и Л. Н. Толстомъ“, первое изд. 1885, второе въ 1887.

ношениј ко всему предыдущему развитию нашей литературы, великая эпопея гр. Толстого являлась светлымъ и высокимъ торжествомъ той стороны ея, которая впервые сказалась у Пушкина, была совершенно не понята его современниками и последующими критиками, и оценена впервые Ап. Григорьевымъ.

Но и для самого г. Страхова появление «Войны и мира», можно думать, было важнымъ моментомъ во внутреннемъ развитии. То, чего онъ смутно искалъ, чего ожидалъ съ сомнѣніемъ, появилось въ образахъ удивительной красоты и твердости, передъ которыми невольно склонилось читающее общество, еще не понимая всего ихъ значенія. Ни для кого значение это не могло быть такъ ясно, какъ для него. Въ шести томахъ громаднаго литературнаго произведения онъ нашелъ двѣ строчки, мимоходомъ брошенныя авторомъ, въ которыхъ была сгруппирована вся мысль романа, быть можетъ не такъ отчетливая для самого знаменитаго художника. Эти строчки обѣ избрали эпиграфомъ для своего разбора. «Нѣть величія тамъ, где чиста простота, добра и правды» — въ этихъ короткихъ словахъ содержится указаніе иного и высшаго типа для всемирной исторіи, по которому она еще никогда не двигалась и который хранится, какъ нравственный идеалъ, безсознательно, въ нѣдрахъ народа нашего; по нему, конечно ступая и вкривь, и вкось, развивался и быть нашъ до реформы Петра. Этотъ типъ можетъ бытьдержанъ при всей сложности развитія, при всякой высотѣ умственныхъ созерцаній или обширности замысловъ и стремленій. Нельзя не согласиться, что онъ есть норма для человѣческаго духа и мѣрило достоинства для человѣческой дѣятельности. Придерживаясь его, первый никогда не почувствуетъ неудовлетворенности и тревоги, а вторая успѣеть достигнуть всякихъ цѣлей. Если мы всмотримся въ двухъ-тысячелѣтнюю исторію западной Европы, мы увидимъ, что все великое, въ ней совершившееся, совершилось по инымъ типамъ, нежели этотъ. Могущество внѣшняго авторитета въ одни моменты ея развитія, свобода личной совѣсти въ другіе, гражданское равенство въ третьи, да же спиритуализмъ или материализмъ воззрѣній, чувствъ и отношений — вотъ окончательныя цѣли, которыхъ преслѣдовались западными народами и породили великие циклы ихъ развитія: католицизмъ и реформацію, систему централизованныхъ государствъ и революцію, рыцарство и промышленность, аскетизмъ монастырей и шумъ энциклопедистовъ. Идеалъ всегда бы-

ваетъ несложенъ, онъ называется двумя-тремя словами, но его осуществлѣніе на всѣхъ ступеняхъ жизни, проникновеніе имъ всѣхъ формъ развитія, всѣхъ моментовъ личнаго существованія и общественныхъ отношеній наполняютъ собою вѣка народной жизни, поглощаютъ трудъ безчисленныхъ поколѣній. Западная Европа въ теченіе всего послѣдняго столѣтія движется въ предѣлахъ мысли, которую мы можемъ читать въ двухъ словахъ, вырѣзанныхъ на французскихъ пушкахъ, хранимыхъ въ Московскомъ Кремль — «liberté, égalité»: сюда примыкаютъ рядъ монархій и республикъ, законодательства и журналистика, индустрия и пролетариатъ. Итакъ, слова эти кратки, но смыслъ ихъ долгъ. Не трудно понять, какъ забвеніе великаго идеала, хранимаго въ нашемъ народѣ, пренебреженіе которою-нибудь изъ его чертъ, порождаетъ наше безсиліе достигнуть хоть какихъ-нибудь изъ своихъ цѣлей, и не нужно быть особенно проницательнымъ, чтобы предвидѣть, до какой степени легко и радостно мы достигли бы ихъ всѣхъ, еслибы въ стремлѣніи своемъ дѣйствительно были всегда прости, совершенно правдивы и не заботились ни о чёмъ, кроме добра. Но къ добру мы примѣщали лживость, къ правдѣ — ожесточеніе, извратились сами и извратили свою жизнь, и несемъ ее какъ бремя, ненавистное для себя и для другихъ.

Къ разбору «Войны и мира» прилегаетъ, какъ къ своему центру, и вся остальная критическая дѣятельность разбираемаго нами писателя. Въ ней особенно слѣдуетъ отмѣтить превосходная «Замѣтки о Пушкинѣ и другихъ поэтахъ» (Спб. 1888). Въ противоположность основнымъ славянофиламъ, которые гениальнаго, но извращенного Гоголя признавали самимъ великимъ дѣятельемъ въ нашей лутературѣ, потому что онъ отрицаніемъ своимъ совпалъ съ ихъ отрицаніемъ, вѣтви этой партии, къ которой принадлежалъ и г. Страховъ, выдвинула Пушкина. Ясность и спокойствіе этого поэта, равно какъ широта его симпатій, болѣе соотвѣтствовала положительному характеру идеаловъ этой вѣтви славянофильства, главными представителями которой были, кроме разбираемаго нами критика, Ап. Григорьевъ и О. М. Достоевскій; къ ихъ-же кругу принадлежалъ и Н. Я. Данилевскій. Пушкинъ сдѣлся центромъ ихъ симпатій и толкованій. Въ его знаменитомъ стихотвореніи «Возрожденіе» они видѣли высказанную судьбу каждой сколько-нибудь даровитой русской души: долгое скитальчество за идеалами, страстное и не окончательное прекло-

неніе передъ идеалами чужихъ народовъ, утомлениe всѣми ими и возвращение къ идеаламъ своего родного народа.

Это можно почти толковать такъ, что уже при первомъ выступлениi на историческое поприще каждый народъ, какъ и всякий рожденный человѣкъ, въ своихъ скрытыхъ духовныхъ дарахъ носить опредѣленіе своей судьбы. Въ теченіе долгаго времени онъ смутно и безотчетно идетъ правильнымъ путемъ, руководимый этими раскрывающимися дарами, но не сознавая ихъ. Но настаетъ время, когда онъ сходитъ съ этихъ путей, и временныя желанія, придуманныя цѣли становятся его руководителями. Онъ называется это время періодомъ пробужденія въ себѣ сознанія, пробужденія своей личности въ исторіи. Однако онъ скоро познаетъ, какъ недостаточны его силы для поддержанія его на этихъ путяхъ, какъ слабъ его умъ для выбора наилучшихъ изъ нихъ. Измученный и не достигнувъ ничего, онъ снова возвращается тогда на великіе пути, по которымъ шелъ раньше. Но все перемѣняется теперь: не тотъ уже и онъ, и иначе понимаетъ онъ путь, который уже совершилъ и который ему предстоитъ еще окончить. Онъ догадывается, наконецъ, что было сознаніе, великоe и глубокое, которое и вывело его на историческую сцену и долго вело по ней; не мыслью своею, но дѣяніями,—повиновеніемъ—онъ совпадалъ и прежде съ этимъ сознаніемъ. Утомленный, онъ и теперь хочетъ только повиноваться ему и повинуется; но онъ вмѣстѣ съ тѣмъ совпадаетъ теперь съ нимъ своюю мыслью. Этотъ послѣдній періодъ и есть періодъ дѣйствительного сознанія, которое можно назвать мудростью.

Мы поставили для себя задачу — указать главныя линіи въ строѣ мышленія избраннаго писателя и объяснить ихъ происхожденіе; при этомъ, естественно, мы опустили все частное, что содержится въ его трудахъ. Сдѣлаемъ теперь общую характеристику его значенія.

Прекрасная и уже обширная въ поэтическомъ и художественномъ отношеніяхъ, наша литература не даетъ еще достаточной пищи для ума собственно, для размышленія. Любя своихъ великихъ писателей и постоянно перечитывая ихъ, мы можемъ воспитаться нравственно: научиться съ достоинствомъ проходить свою жизнь, быть внимательными ко всякому страданію и воздерживаться отъ всякаго зла. Кругъ отношеній къ ближнему, къ своему народу, разныя житейскія отношенія— все это истолковано въ об-

разахъ нашей литературы съ удивительнымъ разнообразіемъ, съ глубокимъ знаніемъ человѣческаго сердца.

Но если проходить свой жизненный путь правильно есть главная, первая и высшая задача всякаго человѣка, то за нею остается еще и другая. Часть жизни своей всякой человѣкъ проводить наединѣ и здѣсь онъ невольно обращается своею мыслью не къ временному и текущему, что окружаетъ его, но къ вѣчному и постоянному. Онъ хочетъ сколько-нибудь уразумѣть тотъ міръ, въ которомъ мгновеніе назадъ появился и черезъ мгновеніе же исчезнетъ, хочетъ унести съ собою что-нибудь вѣчное. Это желаніе дѣлается источникомъ размышленія.

Чего-либо соотвѣтствующаго ему недостаетъ въ нашей литературѣ, и мы склонны думать, что въ ближайшемъ будущемъ ея главною заботою станетъ восполненіе этого недостатка. Нужно понять эту великую задачу во всей ея строгости, нужно отнестись къ ней съ тою-же простотою и серіозностью, съ какою относится къ ней каждый въ глубинѣ своей души, наединѣ съ собою. Для литературы это задача неизмѣримо-трудная. Заинтересоваться единственно предметомъ своимъ и относиться къ читателю такъ-же правдиво, какъ къ самому себѣ—это можетъ быть доступно только высокимъ душамъ.

Имъ и будеть принадлежать умственное воспитаніе нашего общества, руководство его мыслью. Не разъ, вчитываясь въ многочисленные труды разобранныаго нами писателя, мы старались дать себѣ отчетъ, почему именно онъ такъ не похожъ на всѣхъ другихъ, что сообщаетъ ему такое своеобразіе? Цѣльного міровоззрѣнія онъ не даетъ, никакой яркой идеи не высказалъ и не утвердилъ, даже ни на одинъ вопросъ не отвѣтилъ ясно и отчетливо, окончательно. Но со всѣмъ этимъ, страннымъ образомъ, соединяется и чувство какой-то совершенной удовлетворенности. Стараясь дать себѣ отчетъ въ немъ, невольно останавливаешься на отношеніи автора къ предметамъ своего размышленія и къ читателю своему.

Занѣтесованность первыми—до забвения личнаго въ себѣ и, въ силу этого, забвенія-же личнаго въ читателѣ—есть постоянная и отличительная его черта. Это и порождаетъ въ размышляющемъ читателѣ чувство совершенного удовлетворенія. Никакой дисгармоніи между своею душою и книгою онъ не испытываетъ; все временное, все личное, что отдѣляетъ его отъ

другихъ людей и минутно соединяетъ съ ними, также какъ и тогда, когда онъ остается наединѣ съ собою, уходитъ куда-то въ безграничную даль и пропадаетъ. Мысли, въ действительности усвоиваемы имъ извнѣ, какъ будто вырастаютъ въ его собственной душѣ и развиваются въ ней.

Это и составляетъ притягательную силу разбираемаго автора. Онъ не столько разрѣшаетъ наши вопросы, сколько научаетъ насъ серіозно искать ихъ разрѣшенія; не такъ наполняетъ умъ, какъ приготавляетъ его къ принятію истинно-достойнаго содержанія. Длинный рядъ книгъ, имъ написанныхъ, касающійся самыхъ разнообразныхъ вопросовъ виѣшней природы и внутренней жизни человѣка, исторіи и политики, философіи и религіи, служить прекраснымъ началомъ выполненія нашею литературою той задачи *умственнаго воспитанія общества*, разрѣшенія которой мы ожидаемъ отъ нея послѣ того, какъ она столь прекрасно выполнила задачу его художественнаго и отчасти нравственнаго воспитанія.

В. Розановъ.